**Горький М. В Америке**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **В АМЕРИКЕ**  **ЦАРСТВО СКУКИ**  Когда приходит ночь – на океане вдруг поднимается к небу призрачный город, весь из огней. Тысячи рдеющих искр раскаленно сверкают во тьме, топко и четко рисуя на темном фоне неба стройные башни чудесных замков, дворцов и храмов из разноцветного хрусталя. В воздухе трепещет золотая паутина, сплетаясь в прозрачные узоры пламени, и замирает, любуясь своей красотой, отраженной в воде. Сказочно и непонятно это сверкание огня, который горя – не уничтожает; невыразимо прекрасен его великолепный, едва заметный для глаза трепет, создающий в пустыне неба и океана волшебную картину огненного города. Над ним колышется красноватое зарево, и вода отражает его очертания, сливая их в причудливые пятна расплавленного золота…  Игра огня рождает странные мечты: кажется, что там, в залах дворцов, в ярком блеске пламенной радости, тихо и гордо звучит музыка, которой не слыхал никто и никогда. На волне ее стройного течения носятся, точно крылатые звезды, лучшие мысли земли. В священном танце они соприкасаются одна с другой и, ярко вспыхнув в мимолетном объятии, рождают новое пламя, новую мысль.  Кажется, что там, в мягкой тьме, на зыбкой груди океана, качается чудесно сотканная из нитей золота, цветов и звезд большая колыбель,– в ней, ночью, отдыхает солнце.  Солнце ставит человека ближе к правде жизни. Днем на месте огненной сказки видны только белые воздушные здания.  Голубой туман дыхания океана смешан с дымом города, серым и мутным, белые, легкие постройки окутаны прозрачной пеленой, они, подобно мареву, заманчиво дрожат, зовут к себе и обещают что-то прекрасное, утешающее.  Там, сзади, тяжело стоят в тучах дыма и пыли квадратные дома города, и, не смолкая, раздается его ненасытный, голодно-жадный рев. Этот напряженный звук, сотрясающий воздух и душу, немолчный вой железных струн, тоскливый вопль сил жизни, угнетаемых силою Золота, холодный, насмешливый свист Желтого Дьявола,– этот шум гонит прочь от земли, раздавленной и загрязненной вонючим телом города. И люди идут на берег океана, где стоят, обещая им отдых и тишину, красивые белые здания.  Они тесно сомкнулись на длинной песчаной косе, которая, подобно ножу, глубоко и остро вонзилась в темные воды. Песок блестит на солнце теплым желтым блеском, и на его бархате прозрачные здания подобны тонким вышивкам из белого шелка. Как будто некто пришел на острие косы и погрузился в волны, бросив свои богатые одежды на грудь им.  Хочется пойти и прикоснуться к мягким, ласковым тканям, лечь на их пышные складки и смотреть в пустыню, где бесшумно и быстро мелькают белые птицы, где океан и небо дремотно замерли в знойном блеске солнца.  Это называется – Куни Айланд.  По понедельникам газеты города с торжеством извещают читателя:  “Вчера на Куни Айланд было 300000 человек. Потеряно 23 ребенка”…  …Нужно долго ехать, в пыли и криках улиц, на трамвае по Бруклину и острову Лонг Айланд, прежде чем перед глазами явится ослепительное великолепно Куни Айланда. И как только человек встанет перед входом в этот город огня – oн ослеплен. В глаза ему бросают сотни тысяч холодных белых искр, и он долго ничего не может разобрать в сверкающей пыли, вокруг него – всё слито в буйный вихрь огненной пены, всё кружится, блестит и увлекает. Человека сразу ошеломили, ему раздавили этим блеском сознание, изгнали из него мысль и сделали личность куском толпы. Пьяно и безвольно люди идут куда-то среди сверкания огня. В мозг проникает матово-белый туман, жадное ожидание окутывает душу вязким пологом. Пораженная блеском толпа людей вливается черным потоком в неподвижное озеро света, отовсюду сдавленного темными границами ночи.  Везде сухо и холодно сверкают маленькие лампочки, они прилеплены ко всем столбам и стенам, к наличникам окон, карнизам, они тянутся ровными линиями по высокой трубе электрической станции, горят на всех крышах, царапают глаза людей острыми иглами мертвого блеска – люди прищуриваются и, растерянно улыбаясь, медленно влачатся по земле, как тяжелые звенья запутанной цепи…  Человеку нужно сделать большое усилие, чтобы найти себя среди толпы, подавленной удивлением, в котором нет восторга и радости. И кто находит себя, тот видит, что эти миллионы огней рождают унылый, всё раздевающий свет и, создавая намеки на возможность красоты, всюду обнажают тупое, скучное безобразие. Прозрачный издали, сказочный город встает теперь, как нелепая путаница прямых линий дерева, поспешная, дешевая постройка для забавы детей, расчетливая работа старого педагога, которого беспокоят детские шалости, и он желает даже игрушками воспитывать в детях покорность и смирение. Десятки белых зданий уродливо разнообразны, и ни в одном из них нет даже тени красоты. Они построены из дерева, намазаны облупившеюся белой краской и все точно страдают однообразной болезнью кожи. Высокие башни и низенькие колоннады вытянулись в две мертвенно ровные линии и безвкусно теснят друг друга. Всё раздето, ограблено бесстрастным блеском огня; он – всюду, и нигде нет теней. Каждое здание стоит, точно удивленный дурак, широко раскрыв рот, а внутри него облако дыма, резкие вопли медных труб, вой органа и темные фигуры людей. Люди едят, пьют, курят.  Но человека – не слышно. В воздухе течет ровной струей шипение огня в фонарях, носятся лохмотья музыки, нищенское пение деревянных дудок, органов и тонкий, непрерывный свист жаровен. Всё это сливается в назойливое гудение какой-то невидимой, толстой, туго натянутой струны, и, если в этот непрерывный звук вторгается человеческий голос, он кажется испуганным шёпотом. Всё вокруг нагло блестит, обнажая свое скучное уродство…  Душу крепко обнимает пламенное желание живого, красного, цветущего огня, чтобы он освободил людей из плена пестрой скуки, сверлящей уши и ослепляющей глаза… Хочется поджечь всю эту прелесть и бешено, весело плясать, кричать и петь в буйной игре разноцветных языков живого пламени, на сладострастном пиру уничтожения мертвого великолепия духовной нищеты…  Людей в плену этого города – действительно сотни тысяч. На всей его огромной площади, тесно застроенной белыми клетками, во всех залах зданий они толпятся, как тучи черных мух. Беременные женщины самодовольно несут тяжесть своих животов. Дети идут, молчаливо раскрыв рты, и ослепленными глазами смотрят вокруг так напряженно и серьезно, что их до боли жалко за этот взгляд, питающий их душу уродством, которое они берут за красоту. Бритые лица мужчин, безусые, странно похожие друг на друга,– солидно неподвижны. Большинство их привело сюда жен и детей и чувствует себя благодетелями своих семейств, которым они дают не только хлеб, но и великолепные зрелища. Им самим тоже нравится этот блеск, но они слишком серьезны для того, чтобы выражать свои ощущения, поэтому они однообразно сжали тонкие губы и, прищурив глаза, смотрят исподлобья, как люди, которых ничем не удивишь. Но под этим внешним спокойствием зрелого опыта чувствуется напряженное желание изведать все наслаждения города. И вот солидные люди, пренебрежительно усмехаясь и скрывая довольный блеск светлых глаз, садятся верхом на спины деревянных лошадок и слонов электрической карусели, садятся и, болтая ногами, с трепетом ждут острого удовольствия помчаться по рельсам, ухая взлететь вверх и со свистом опуститься вниз. Совершив это тряское путешествие, все снова туго натягивают кожу на лице и идут к другим наслаждениям…  Удовольствия бесчисленны.  Вот на вершине железной башни медленно качаются два длинные белые крыла, на концах крыльев висят клетки, в клетках – люди. Когда одно из крыльев тяжело взмывает к небу – лица людей в клетках становятся тоскливо серьезны, и все они одинаково напряженно и молчаливо смотрят круглыми глазами на землю, уходящую от них. А в клетке другого крыла, которое в это время осторожно опускается вниз,– лица людей цветут улыбками, и раздаются довольные взвизгивания. Это напоминает радостный визг щенка, когда его опустишь на пол, подержав на воздухе за кожу шеи.  Вокруг вершины другой башни летают в воздухе лодки, третья, вращаясь, двигает какие-то баллоны из железа, четвертая, пятая – все они двигаются, пылают, зовут безмолвным криком холодного огня. Всё качается, взвизгивает, гремит и кружит головы людей, делая их самодовольно скучными, утомляя их нервы путаницей движений и блеском огня. Светлые глаза становятся еще светлее, как будто мозг бледнеет, теряя кровь в странной суете белого сверкающего дерева. И кажется, что скука, издыхая под гнетом отвращения к себе самой, кружится, кружится в медленной агонии и вовлекает в свой унылый танец десятки тысяч однообразно черных людей, сметая их, как ветер сор улиц, в безвольные кучи и снова разбрасывая, и снова сметая…  Внутри зданий людей ждут тоже наслаждения, но они серьезны, они воспитывают. Здесь людям показывают Ад с его строгими порядками и разнообразием мучений, которые ждут людей, нарушающих святость законов, созданных для них…  Ад сделан из папье-маше, окрашенного в темно-красный цвет, всё в нем пропитано огнеупорным составом и густым, грязным запахом какого-то жира. Ад очень скверно сделан, он способен вызвать отвращение даже у человека весьма нетребовательного. Он представляет собой пещеру, хаотически заваленную камнями и наполненную красноватым сумраком. На одном из камней сидит Сатана в красном трико, искажая разнообразными гримасами свое худое коричневое лицо, и потирает руки, как человек, который сделал выгодное дело. Ему, должно быть, очень неудобно сидеть – бумажный камень трещит и качается, но он будто бы не замечает этого, наблюдая, как внизу, у его кривых ног, черти расправляются с грешниками.  Вот девушка купила новую шляпку и смотрит на себя в зеркало, довольная и веселая. Но сзади к ней подкрадывается пара небольших, видимо, очень голодных чертей, они схватывают ее под мышки, она визжит,– поздно! Черти кладут ее в длинный гладкий жёлоб, который круто опускается в яму среди пещеры, из ямы идет серый пар, поднимаются языки огня, сделанного из красной бумаги, и девушка, вместе с зеркалом и шляпой, съезжает на спине по жёлобу в эту яму.  Молодой парень выпил стакан водки – черти немедленно спускают и его туда же, под пол сцены.  В аду душно, черти мелки и слабосильны, они, видимо, страшно утомлены своей работой, их раздражает ее однообразие и очевидная бесполезность, поэтому они не церемонятся с грешниками, бросая их в желоб, точно поленья. Смотришь на них, и хочется крикнуть:  “Довольно глупостей! Бастуй, ребята!..”  Девица вытащила несколько монет из кошелька своего собеседника,– и в тот же миг черти расправляются с ней, к удовольствию Сатаны, который радостно болтает ногами и гнусаво хихикает. Черти сердито косятся на бездельника и озлобленно швыряют в пасть огненной ямы всех, кто случайно – по делу или из любопытства – заходит в ад…  Публика смотрит на эти страсти молча и серьезно. В зале – темно. Какой-то здоровый парень с курчавой головой и в толстом пиджаке густым, угрюмым голосом говорит речь, указывая рукой на сцену.  В своей речи он утверждает, что, если люди не хотят быть жертвами Сатаны в красном трико и с кривыми ногами, они должны знать, что нельзя целовать девушек, не обвенчавшись с ними, потому что от этого девушки могут сделаться проститутками; нельзя целовать молодых людей без разрешения церкви, потому что от этого могут родиться мальчики и девочки; проститутки не должны воровать деньги из карманов своих гостей; все вообще люди не должны пить вино и прочие жидкости, возбуждающие страсти; все они должны посещать не трактиры, а церкви,– это полезнее для души и дешевле стоит…  Говорит он однотонно, скучно и, должно быть, сам нe верит, что нужно жить именно так, как ему велели проповедовать.  Невольно восклицаешь по адресу хозяев исправительного увеселения для грешников:  – Господа! Если вы желаете, чтобы мораль действовала на душу человека, хотя бы с силою касторового масла,– проповедникам морали надо больше платить!  В заключение этой страшной истории из угла пещеры является до отвращения красивый ангел. Он подвешен на проволоке и двигается в воздухе через всю пещеру, держа в зубах деревянную дудку, оклеенную золотой бумагой. Сатана, увидав его, ныряет, подобно ершу, в яму вслед за грешниками, раздается треск, бумажные камни валятся друг на друга, черти радостно бегут отдохнуть от работы,– занавес опускается. Публика встает и уходит. Некоторые осмеливаются смеяться, большинство людей сосредоточенно. Может быть, они думают:  “Если и в аду так мерзко,– пожалуй, не стоит грешить”.  Идут дальше. В следующем здании им показывают “Загробный мир”. Это большое учреждение, тоже из папье-маше, оно изображает шахты, в которых без толку шатаются скверно одетые души умерших. Им можно подмигивать, но щипать их нельзя, это – факт. Они, должно быть, очень скучают в сумраке подземного лабиринта, среди шероховатых стен, обливаемые холодной струёй сырого воздуха. Некоторые души скверно кашляют, другие молча жуют табак, сплевывая на землю желтую слюну; одна душа, прислонясь в углу к стене, курит сигару…  Когда проходишь мимо них, они смотрят в лицо бесцветными глазами и, плотно сжимая губы, зябко прячут руки в серые складки загробных лохмотьев. Голодны они, эти бедные души, и, видимо, многие из них страдают ревматизмом. Публика молча смотрит на них и, вдыхая сырой воздух, питает душу свою унылой скукой, которая гасит мысль, как мокрая, грязная тряпка, брошенная на уголь, едва тлеющий…  Еще в одном здании охотно показывают “Всемирный потоп”, который, как известно, был устроен для наказания людей за грехи…  И все зрелища в этом городе имеют одну цель: показать людям, чем и как они будут вознаграждены за грехи свои после смерти, научить их жить на земле смирно и послушно законам…  Всюду проповедуется одно:  – Нельзя!  Ибо подавляющее большинство публики – рабочий парод…  Но – необходимо наживать деньги, и в укромных уголках светлого города, как везде на земле, разврат презрительно смеется над лицемерием и ложью. Конечно, он прикрыт, и, разумеется,– он скучен, он ведь тоже “для народа”. Он организован как выгодное предприятие, как средство вытащить заработок из кармана человека, и, пропитанный страстью к золоту, он трижды гнусен и противен в этом болоте светлой скуки…  Народ питается им…  …Он течет густым потоком между двух линий ярко освещенных домов, и дома глотают его голодными пастями. Направо его застращивают ужасами вечных мук, убеждая:  – Не греши! Опасно!  Налево, в просторном зале для танцев, медленно кружатся женщины, и всё там говорит:  – Согреши! Приятно…  Ослепленный блеском огней, соблазняемый дешевой, но сверкающей роскошью, пьяный от шума, он кружится в медленной пляске томящей скуки и охотно, слепо идет налево – ко греху, направо – в дома, где ему проповедуют святость.  Это безвольное хождение с одинаковой силой отупляет его, одинаково полезно и для торговцев моралью и для продавцов разврата.  Жизнь устроена для того, чтобы народ шесть дней работал, а в седьмой грешил и – платил за грехи свои, исповедовался и платил за исповедь,– вот и всё!  Шипят огни, подобно сотням тысяч раздраженных змей, темными роями мух бессильно, уныло жужжат и медленно ворочаются люди в сетях сверкающей, тонкой паутины зданий. Не торопясь, без улыбок на гладко выбритых лицах, они лениво входят во все двери, стоят подолгу перед клетками зверей, жуют табак, плюются.  В огромной клетке какой-то человек гоняет выстрелами из револьвера и беспощадными ударами тонкого бича бенгальских тигров. Красавцы-звери, обезумев от ужаса, ослепленные огнями, оглушенные музыкой и выстрелами, бешено мечутся среди железных прутьев, рычат, храпят, сверкая зелеными глазами; дрожат их губы, гневно обнажая клыки зубов, и то одна, то другая лапа грозно взмахивает в воздухе. Но человек стреляет им прямо в глаза, и громкий треск холостого патрона, ревущая боль ударов бича отталкивают сильное, гибкое тело зверя в угол клетки. Охваченный дрожью возмущения, гневной тоской сильного, задыхаясь в муках унижения, пленный зверь на секунду замирает в углу и безумными глазами смотрит, нервно двигая змеевидным хвостом, смотрит…  Эластичное тело сжимается в твердый ком мускулов, дрожит, готовое взлететь на воздух, вонзить свои когти в мясо человека с бичом, разорвать его, уничтожить…  Вздрагивают, как пружины, задние ноги, вытягивается шея, в зеленых зрачках вспыхивают кроваво-красные искры радости.  И в них вонзаются сотнями тупых уколов бесцветные, холодно ожидающие взгляды однообразно желтых лиц за решеткою клетки, тускло слитых в медное пятно.  Страшное своей мертвой неподвижностью, лицо толпы ждет,– она тоже хочет крови и ждет ее, ждет не из мести, а из любопытства, как давно укрощенный зверь.  Тигр втягивает голову в плечи, тоскливо расширяет глаза и волнисто, мягко подается всем телом назад, точно его кожу, воспламененную жаждой мести, вдруг облили ледяным дождем.  Человек стреляет, щелкает бичом, орет, как безумный,– он прячет в криках свой жуткий страх перед зверем и свое рабское опасение не угодить животному, которое спокойно любуется прыжками человека, напряженно ожидая рокового прыжка зверя. Ожидает – не познавая, в нем проснулся и дышит древний инстинкт, oн требует борьбы, он хочет сладко вздрогнуть, когда два тела обовьются одно с другим, брызнет кровь и на пол клетки полетит, дымясь, разорванное мясо человека, раздастся рев и крик…  Но мозг животного уже пропитан ядами разных запретов и опасений, желая крови – толпа боится, она а хочет и не хочет, и в этой темной борьбе внутри самой себя она испытывает острое наслаждение, она – живет…  Человек напугал всех зверей, тигры мягко убегают куда-то в глубину клетки, а он, потный и довольный тем, что сегодня остался жив, улыбается побелевшими губами, стараясь скрыть их дрожь, и кланяется медному лицу толпы, кланяется ей, как идолу.  Она мычит, хлопает ладонями и разваливается на темные куски, расползается по вязкому болоту скуки вокруг нее…  Насладившись картиной состязания человека со зверями, животные идут искать еще чего-нибудь забавного. Вот – цирк. В центре круглой арены какой-то человек подбрасывает длинными ногами в воздух двух детей. Дети мелькают над ним, точно два белых голубя, у которых сломаны крылья, порой они срываются с его ног, падают на землю и, опасливо взглянув на опрокинутое, налитое кровью лицо отца своего или хозяина, снова вертятся в воздухе. Вокруг арены сложилась толпа. Смотрит. И когда ребенок срывается с ноги артиста – на всех лицах вздрагивает оживление, точно ветер кроет легкой рябью сонную воду грязной лужи.  Хочется увидеть пьяного человека с веселой рожей, который шел бы, толкался, пел, орал, счастливый тем, что вот он – пьян и всем добрым людям искренно желает того же…  Гремит музыка, разрывая воздух в клочья. Оркестр – плох, музыканты устали, звуки труб мечутся бессвязно, как будто они прихрамывают, для них невозможен плавный строй, они бегут изломанной линией, толкая, обгоняя, опрокидывая друг друга. И почему-то каждый отдельный звук рисуется воображению куском жести, которому придано сходство с лицом человека,– прорезан рот, прорезаны глаза, отверстие для носа и приделаны длинные белые уши. Человек, махающий палочкой над головами музыкантов, которые не смотрят на него, берет эти куски за ручки-уши и невидимо бросает их кверху. Они сшибаются друг с другом, воздух свистит в щелях их ртов, и – это делает музыку, от которой даже ко всему привыкшие лошади цирковых наездников – опасливо сторонятся, нервно прядая острыми ушами, точно хотят вытряхнуть из них колкие жестяные звуки…  Странные фантазии рождает музыка нищих для забавы рабов. Хочется вырвать из рук музыканта самую большую медную трубу и дуть в нее всей силой груди, долго, громко, страшно, так, чтобы все разбежались из плена, гонимые ужасом бешеного звука…  Недалеко от оркестра – клетка с медведями; один из них, толстый, бурый, с маленькими хитрыми глазами, стоит среди клетки и размеренно качает головой. Вероятно, он думает:  “Это можно принять как разумное только тогда, если мне докажут, что всё здесь устроено нарочно, чтобы ослепить, оглушить, изуродовать людей. Тогда, конечно, цель оправдывает средства… Но, если люди искренно думают, что всё это – забавно, я не верю больше в их разум!..”  Два другие медведя сидят один против другого, как будто играя в шахматы. Четвертый озабоченно сгребает солому в угол клетки, задевая черными когтями за прутья. Морда у него разочарованно-спокойная. Он, видимо, ничего не ждет от этой жизни и намерен лечь спать…  Звери возбуждают острое внимание – водянистые взгляды людей неотвязно следят за ними, как будто ищут что-то давно позабытое в свободных и сильных движениях красивого тела львов и пантер. Стоя перед клетками, они просовывают палки сквозь решетку и молча, испытующе тыкают зверей в животы, в бока, наблюдают: что будет?  Те звери, которые еще не ознакомились с характером людей – сердятся на них, бьют лапами по прутьям клеток и ревут, открывая гневно дрожащие пасти. Это – нравится. Охраняемые железом от ударов зверя, уверенные в своей безопасности, люди спокойно смотрят в глаза, налитые кровью, и довольно улыбаются. Но большинство зверей не отвечают людям. Получив удар палкой или плевок, они медленно встают и, не глядя на оскорбителя, уходят в дальний угол клетки. Там в темноте лежат сильные, прекрасные тела львов, тигров, пантер и леопардов, и горят во тьме круглые зрачки зеленым огнем презрения к людям…  А люди, взглянув на них еще раз, идут прочь и говорят:  – Это – скучный зверь…  Перед оркестром музыкантов, с отчаянным усердием играющих у полукруглого входа в какую-то темную, широко разинутую пасть, внутри которой спинки стульев торчат подобно рядам зубов,– пред музыкантами поставлен столб, а на столбе, привязанные тонкой цепью, две обезьяны – мать и ребенок. Ребенок тесно прижался к груди матери, скрестив на спине ее свои длинные тонкие руки с крошечными пальцами; мать крепко обняла его одной рукой, ее другая рука сторожко вытянута вперед, и пальцы на ней нервно скрючены, готовые царапнуть, ударить. Глаза матери напряженно расширены, в них ясно видно бессильное отчаяние, острая боль ожидания неустранимой обиды, утомленная злоба и тоска. Ребенок, прильнув щекой к ее груди, искоса, с холодным ужасом в глазах смотрит на людей,– он, видимо, был напоен страхом в первый день жизни, и страх заледенел в нем на все дни ее. Оскалив мелкие белые зубы, его мать, ни на секунду не отрывая руки, обнимающей родное тело, другой рукой всё время непрерывно отбивает протянутые к ней палки и зонтики зрителей ее мук.  Их много. Это белокожие дикари, мужчины и женщины, в котелках и шляпах с перьями, и всем им ужасно забавно видеть, как ловко обезьяна-мать защищает свое дитя от ударов по его маленькому телу…  Обезьяна быстро вертится на круглой плоскости, величиной с тарелку, рискует каждую секунду упасть под ноги зрителей и неутомимо отталкивает всё, что хочет прикоснуться к ее ребенку. Порой она не успевает отбить удар и жалобно взвизгивает. Ее рука, точно плеть, быстро вьется вокруг, но зрителей так много, и каждому так сильно хочется ударить, дернуть обезьяну за хвост, за цепь на шее. Она – не успевает. И глаза ее жалобно моргают, около рта являются лучистые морщины скорби и боли.  Руки ребенка давят ей грудь, он так крепко прижался; что его пальцев почти но видно в топкой шерсти на коже матери. Глаза его, не отрываясь, смотрят на желтые пятна лиц, в тусклые глаза людей, которым его ужас перед ними дает маленькое удовольствие…  Порой один из музыкантов наводит медный глупый зов своей трубы на обезьяну и обливает ее трескучим звуком – она сжимается, скалит зубы и смотрит на музыканта острым взглядом…  Публика смеется, одобрительно кивает музыканту головами. Он доволен и спустя минуту повторяет спою выходку.  Среди зрителей есть женщины; вероятно, некоторые из них – матери. Но никто не произносит ни слова против злой забавы. Все довольны ею…  Иная пара глаз, кажется, готова лопнуть от напряжения, с которым она любуется муками матери и диким ужасом ребенка.  Рядом с оркестром клетка слона. Это пожилой господин, с вытертой и лоснящейся кожей на голове. Просунув хобот сквозь прутья клетки, он солидно покачивает им, наблюдая за публикой. И думает, как доброе и разумное животное:  “Конечно, эта сволочь, сметенная сюда грязной метлой скуки, способна издеваться и над пророками своими,– как слышал я от стариков-слонов. Но – все-таки – мне жалко обезьяну… Я слышал также, что люди, как шакалы и гиены, порою разрывают друг друга, по обезьяне-то от этого не легче, нет, не легче!..”  …Смотришь на эту пару глаз, в которой дрожит скорбь матери, бессильной защитить свое дитя, и на глаза ребенка, в которых неподвижно застыл глубокий, холодный ужас перед человеком, смотришь на людей, способных забавляться мучениями живого существа, и, обращаясь к обезьяне, говоришь про себя:  “Животное! Прости им! Со временем они будут лучше…”  Конечно, это смешно и глупо. И бесполезно. Едва ли может быть такая мать, которая могла бы простить мучения своего ребенка; я думаю, даже среди собак нет такой матери…  Разве только свиньи…  Да…  Так вот – когда приходит ночь,– на океане внезапно вспыхивает прозрачный, волшебный город, весь из огней. Он – не сгорая – долго горит на темном фоне неба ночи, отражая свою красоту в широком блеске волн океана.  В блестящей паутине его прозрачных зданий, подобно вшам в лохмотьях нищего, скучно ползают десятки тысяч серых людей с бесцветными глазами.  Жадные и подлые – показывают им отвратительную наготу своей лжи и наивность своей хитрости, лицемерие свое и ненасытную силу жадности своей. Холодный блеск мертвого огня во всем оголяет скудоумие, и оно, торжественно блистая, почиет на всем вокруг людей…  Но люди тщательно ослеплены и с восхищением, молча, пьют дрянной яд, отравляющий им души.  В ленивом танце медленно кружится скука, издыхающая в агонии своего бессилия.  Только одно хорошо в светлом городе – в нем можно на всю жизнь напоить душу свою ненавистью к силе глупости…   |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | [Город жёлтого дьявола](http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367.htm) [**Царство скуки**](http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367-2.htm) ["MOB"](http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367-3.htm) [Примечания](http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367-prim.htm) |   [Назад](http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367.htm) [Вперед](http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367-3.htm) | | | **Рекомендуемые страницы от google:** | |

Источник: <http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367-2.htm>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **В АМЕРИКЕ**  **ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА**  Над океаном и землею висел туман, густо смешанный с дымом, мелкий дождь лениво падал на темные здания города и мутную воду рейда.  У бортов парохода собрались эмигранты, молча глядя на всё вокруг пытливыми глазами надежд и опасений, страха и радости.  - Это кто? - тихо спросила девушка-полька, изумленно указывая на статую Свободы. Кто-то ответил:  - Американский бог.  Массивная фигура бронзовой женщины покрыта с ног до головы зеленой окисью. Холодное лицо слепо смотрит сквозь туман в пустыню океана, точно бронза ждет солнца, чтобы оно оживило ее мертвые глаза. Под ногами Свободы - мало земли, она кажется поднявшейся из океана, пьедестал ее - как застывшие волны. Ее рука, высоко поднятая над океаном и мачтами судов, придает позе гордое величие и красоту. Кажется - вот факел в крепко сжатых пальцах ярко вспыхнет, разгонит серый дым и щедро обольет всё кругом горячим, радостным светом.  А кругом ничтожного куска земли, на котором она стоит,скользят по воде океана, как допотопные чудовища, огромные железные суда, мелькают, точно голодные хищники, маленькие катера. Ревут сирены, подобно голосам сказочных гигантов, раздаются сердитые свистки, гремят цепи якорей, сурово плещут волны океана.  Всё вокруг бежит, стремится, вздрагивает напряженно. Винты и колеса пароходов торопливо бьют воду - она покрыта желтой пеной, изрезана морщинами.  И кажется, что всё - железо, камни, вода, дерево - полно протеста против жизни без солнца, без песен и счастья, в плену тяжелого труда. Всё стонет, воет, скрежещет, повинуясь воле какой-то тайной силы, враждебной человеку. Повсюду на груди воды, изрытой и разорванной железом, запачканной жирными пятнами нефти, засоренной щепами, стружками, соломой и остатками пищи,- работает невидимая глазом холодная и злая сила. Она сурово и однообразно дает толчки всей этой необъятной машине, в ней корабли и доки - только маленькие части, а человек - ничтожный винт, невидимая точка среди уродливых, грязных сплетений железа, дерева, в хаосе судов, лодок и каких-то плоских барок, нагруженных вагонами.  Ошеломленное, оглохшее от шума, задерганное этой пляской мертвой материи двуногое существо, всё в черной копоти и масле, странно смотрит на меня, сунув руки в карманы штанов. Лицо его замазано густым налетом жирной грязи, и не глаза живого человека сверкают на нем, а белая кость зубов.  Медленно ползет судно среди толпы других судов. Лица эмигрантов стали странно серы, отупели, что-то однообразно-овечье покрыло все глаза. Люди стоят у борта и безмолвно смотрят в туман.  А в нем рождается, растет нечто непостижимо огромное, полное гулкого ропота, оно дышит навстречу людям тяжелым, пахучим дыханием, и в шуме его слышно что-то грозное, жадное.  Это - город, это - Нью-Йорк. На берегу стоят двадцатиэтажные дома, безмолвные и темные "скребницы неба". Квадратные, лишенные желания быть красивыми, тупые, тяжелые здания поднимаются вверх угрюмо и скучно. В каждом доме чувствуется надменная кичливость своею высотой, своим уродством. В окнах нет цветов и не видно детей.  Издали город кажется огромной челюстью, с неровными, черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением.  Войдя в него, чувствуешь, что ты попал и желудок из камня и железа,- в желудок, который проглотил несколько миллионов людей и растирает, переваривает их.  Улица - скользкое, алчное горло, по нему куда-то вглубь плывут темные куски пищи города - живые люди. Везде - над головой, под ногами и рядом с тобой - живет, грохочет, торжествуя свои победы, железо. Вызванное к жизни силою Золота, одушевленное им, оно окружает человека своей паутиной, глушит его, сосет кровь и мозг, пожирает мускулы и нервы и растет, растет, опираясь на безмолвный камень, всё шире раскидывая звенья своей цепи.  Как огромные черви, ползут локомотивы, влача за собою вагоны, крякают, подобно жирным уткам, рожки автомобилей, угрюмо воет электричество - душный воздух напоен, точно губка влагой, тысячами ревущих звуков. Придавленный к этому грязному городу, испачканный дымом фабрик, он неподвижен среди высоких стен, покрытых копотью.  На площадях и в маленьких скверах, где пыльные листья деревьев мертво висят на ветвях,- возвышаются темные монументы. Их лица покрыты толстым слоем грязи, глаза их, когда-то горевшие любовью к родине, засыпаны пылью города. Эти бронзовые люди мертвы и одиноки в сетях многоэтажных домов, они кажутся карликами в черной тени высоких стен, они заплутались в хаосе безумия вокруг них, остановились и, полуослепленные, грустно, с болью в сердце смотрят на жадную суету людей у ног их. Люди, маленькие, черные, суетливо бегут мимо монументов, и никто но бросит взгляда на лицо героя. Ихтиозавры капитала стерли из памяти людей значение творцов свободы.  Кажется, что бронзовые люди охвачены одной и той же тяжелой мыслью:  "Разве такую жизнь хотел я создать?"  Вокруг кипит, как суп на плите, лихорадочная жизнь, бегут, вертятся, исчезают в этом кипении, точно крупинки в бульоне, как щепки в море, маленькие люди. Город ревет и глотает их одного за другим ненасытной пастью.  Одни из героев опустили руки, другие подняли их, протягивая над головами людей, предостерегая:  - Остановитесь! Это не жизнь, это безумие.  Все они - лишние в хаосе уличной жизни, все не на месте в диком реве жадности, в тесном плену угрюмой фантазии из камня, стекла и железа.  Однажды ночью они все вдруг сойдут с пьедесталов и тяжелыми шагами оскорбленных пройдут по улицам, унося тоску своего одиночества прочь из этого города, в поле, где блестит луна, есть воздух и тихий покой. Когда человек всю жизнь трудился на благо своей родины, он этим несомненно заслужил, чтоб после смерти его оставили в покое.  По тротуарам спешно идут люди туда и сюда, по всем направлениям улиц. Их всасывают глубокие поры каменных стен. Торжествующий гул железа, громкий вой электричества, гремящий шум работ по устройству новой сети металла, новых стен из камня - всё это заглушает голоса людей, как буря в океане - крики птиц.  Лица людей неподвижно спокойны - должно быть, никто из них не чувствует несчастья быть рабом жизни, пищей города-чудовища. В печальном самомнении они считают себя хозяевами своей судьбы - в глазах у них, порою, светится сознание своей независимости, но, видимо, им непонятно, что это только независимость топора в руке плотника, молотка в руке кузнеца, кирпича в руках невидимого каменщика, который, хитро усмехаясь, строит для всех одну огромную, но тесную тюрьму. Есть много энергичных лиц, но на каждом лице прежде всего видишь зубы. Свободы внутренней, свободы духа - не светится в глазах людей. И эта энергия без свободы напоминает холодный блеск ножа, который еще не успели иступить. Это - свобода слепых орудий в руках Желтого Дьявола - Золота.  Я впервые вижу такой чудовищный город, и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так порабощены. И в то же время я нигде не встречал их такими трагикомически довольными собой, каковы они в этом жадном и грязном желудке обжоры, который впал от жадности в идиотизм и с диким ревом скота пожирает мозги и нервы.  О людях - страшно и больно говорить.  Вагон "воздушной дороги" с воем и грохотом мчится по рельсам, между стен домов узкой улицы, на высоте третьих этажей, однообразно опутанных решетками железных балконов и лестниц. Окна открыты, и почти в каждом из них - фигуры людей. Одни работают, что-то шьют или считают, наклонив головы над конторками, другие просто сидят у окон, лежат грудью на подоконниках и смотрят на вагоны, каждую минуту пробегающие мимо их глаз. Старые, молодые и дети - все одинаково безмолвны, однообразно спокойны. Привыкли к этим стремлениям без цели, привыкли думать, что тут есть цель. В глазах - нет гнева против владычества железа, нет ненависти к его торжеству. Мелькание вагонов сотрясает стены домов, вздрагивают груди женщин, головы мужчин; на решетках балконов валяются тела детей и тоже дрожат, привыкая принимать эту отвратительную жизнь как должное, неизбежное. В мозгах, которые всегда встряхивают, вероятно, невозможно мысли плести свои смелые, красивые кружева, невозможно родить живую, дерзкую мечту.  Вот промелькнуло темное лицо старухи в грязной кофте, расстегнутой на груди. Уступая дорогу вагонам, замученный, отравленный воздух испуганно бросился в окна, седые волосы на голове старухи затрепетали, точно крылья серой птицы. Она закрыла свинцовые, погасшие глаза. Исчезла.  В мутных внутренностях комнат мелькают железные прутья кроватей, покрытых лохмотьями, грязная посуда и объедки пищи на столах. Хочется увидеть цветы на окнах, ищешь человека с книгой в руке. Стены льются мимо глаз, точно расплавленные, они текут грязным потоком навстречу, в быстром беге потока тягостно копошатся безмолвные люди.  Лысый череп тускло блеснул за стеклом, покрытым слоем пыли. Он однообразно качался над каким-то станком. Девушка, рыжеволосая и тонкая, сидит на окне и вяжет чулок, считая темными глазами петли. Ударом воздуха ее качнуло внутрь комнаты,- она не отвела глаз от работы, не поправила платья, развеянного ветром. Два мальчика, лет по пяти, строят на балконе дом из щепок. Он развалился от сотрясения. Дети хватают маленькими лапами тонкие щепы, чтобы они не упали нa улицу, сквозь отверстия в решетке балкона. И тоже не смотрят на причину, помешавшую их задаче. Еще и еще лица, одно за другим, мелькают в окнах, точно осколки чего-то одного - большого, но разбитого в ничтожные пылинки, растертого в дресву.  Гонимый бешеным бегом вагонов, воздух развевает платье и волосы людей, бьет им в лицо теплой, душной волной, толкает, вгоняет им в уши тысячи звуков, бросает в глаза мелкую, едкую пыль, слепит, оглушает протяжным, непрерывно воющим звуком.  Живому человеку, который мыслит, создает в своем мозгу мечты, картины, образы, родит желания, тоскует, хочет, отрицает, ждет,- живому человеку этот дикий вой, визг, рев, эта дрожь камня стен, трусливый дребезг стекол в окнах - всё это ему мешало бы. Возмущенный, он вышел бы из дома и сломал, разрушил эту мерзость- "воздушную дорогу"; он заставил бы замолчать нахальный вой железа, он - хозяин жизни, жизнь - для него, и всё, что ему мешает жить,- должно быть уничтожено.  Люди в домах города Желтого Дьявола спокойно переносят всё, что убивает человека.  Внизу, под железной сетью "воздушной дороги", в пыли и грязи мостовых, безмолвно возятся дети,- безмолвно, хотя они смеются и кричат, как дети всего мира, но голоса их тонут в грохоте над ними, точно капли дождя в море. Они кажутся цветами, которые чья-то грубая рука выбросила из окон домов в грязь улицы. Питая свои тела жирными испарениями города, они бледны и желты, кровь их отравлена, нервы раздражены зловещим криком ржавого металла, угрюмым воем порабощенных молний.  "Разве из этих детей вырастут здоровые, смелые, гордые люди?"- спрашиваешь себя. В ответ отовсюду скрежет, хохот, злой визг.  Вагоны несутся мимо Ист-Сайда, квартала бедных, компостной ямы города. Глубокие канавы улиц, ведущие людей куда-то в глубины города, где - представляется уму - устроена огромная, бездонная дыра - котел или кастрюля. Туда стекаются все эти люди, и там из них вываривают золото. Канавы улиц кишат детьми.  Я очень много видел нищеты, мне хорошо знакомо ее зеленое, бескровное, костлявое лицо. Ее глаза, тупые от голода и горящие жадностью, хитрые и мстительные или рабски покорные и всегда нечеловеческие, я всюду видел, но ужас нищеты Ист-Сайда - мрачнее всего, что я знаю.  В этих улицах, набитых людьми, точно мешки крупой, дети жадно ищут в коробках с мусором, стоящих у панелей, загнившие овощи и пожирают их вместе с плесенью тут же, в едкой пыли и духоте.  Когда они находят корку загнившего хлеба, она возбуждает среди них дикую вражду; охваченные желанием проглотить ее, они дерутся, как маленькие собачонки. Они покрывают мостовые стаями, точно прожорливые голуби; в час ночи, в два и позднее - они все еще роются в грязи, жалкие микробы нищеты, живые упреки жадности богатых рабов Желтого Дьявола.  На углах грязных улиц стоят какие-то печи пли жаровни, в них что-то варится, пар, вырываясь по тонкой трубке на воздух, свистит в маленький свисток на конце ее. Тонкий, режущий ухо свист прорывает своим дрожащим острием все звуки улиц, он тянется бесконечно, как ослепительно белая, холодная нить, он закручивается вокруг горла, путает мысли в голове, бесит, гонит куда-то и, не смолкая ни на секунду, дрожит в гнилом запахе, пожравшем воздух, дрожит насмешливо, злобно пронизывая эту жизнь в грязи.  Грязь - стихия, она пропитала собою всё: стены домов, стекла окон, одежды людей, поры их тела, мозги, желания, мысли.  В этих улицах темные впадины дверей подобны загнившим ранам в камне стен. Когда, заглянув в них, увидишь грязные ступени лестниц, покрытые мусором, то кажется, что там, внутри, всё разложилось и гнойно, как во чреве трупа. А люди представляются червями.  Высокая женщина с большими темными глазами стоит у двери, на руках у нее ребенок, ее кофта расстегнута, бессильно повисла длинным кошелем ее синяя грудь. Ребенок кричит, царапая пальцами вялое, голодное тело матери, тычется в него лицом, чмокает губами, на минуту умолкает, вновь кричит с большей силой, бьет руками и ногами грудь матери. Она стоит, точно каменная, глаза ее круглы, как у совы,- они смотрят упорно в одну точку перед собой. Чувствуешь, что этот взгляд не может видеть ничего, кроме хлеба. Она плотно сжала губы и дышит носом, ноздри ее вздрагивают, втягивая пахучий, густой воздух улицы; этот человек живет воспоминанием о пище, проглоченной им вчера, мечтой о куске, который он, может быть, съест когда-нибудь. Ребенок кричит, судорожно подергиваясь маленьким желтым тельцем,- она не слышит его криков, не чувствует ударов.  Старик, длинный и худой, с хищным лицом, без шляпы на седой голове, прищурив красные веки больных глаз, осторожно роется в куче мусора, отбирая куски угля. Когда к нему подходят, он неуклюже, точно волк, поворачивает туловище и что-то говорит.  Юноша, очень бледный и худой, опираясь на столб фонаря, смотрит серыми глазами вдоль улицы и по временам встряхивает курчавой головой. Его руки засунуты глубоко в карманы брюк и судорожно шевелят там пальцами.  Здесь, в этих улицах, человек заметен, слышен его голос, озлобленный, раздраженный, мстительный. Здесь у человека есть лицо - голодное, возбужденное, тоскующее. Видно, что люди чувствуют, заметно, что они думают. Они кишат в грязных канавах, трутся друг о друга, точно сор в потоке мутной воды, их кружит и вертит сила голода, оживляет острое желание съесть что-нибудь.  В ожидании пищи, в мечтах о наслаждении быть сытыми, они глотают насыщенный ядами воздух, и в темных глубинах их душ рождаются острые мысли, хитрые чувства, преступные желания.  Они подобны болезнетворным микробам в желудке города, и будет время, когда они его отравят теми же ядами, которыми он так щедро питает их теперь!  Юноша у фонаря время от времени встряхивает головой, крепко стиснув голодные зубы. Мне кажется, я понимаю, о чем он думает, чего он хочет,- иметь огромные руки страшной силы и крылья за спиной он хочет, мне кажется. Это для того, чтобы однажды дном подняться над городом, опустить в него руки, как два стальных рычага, и смешать в нем всё в груду мусора и праха - кирпич и жемчуг, золото и мясо рабов, стекло и миллионеров, грязь, идиотов, храмы, деревья, отравленные грязью, и эти глупые многоэтажные "скребницы неба", всё, весь город - в кучу, в тесто из грязи и крови людей - в скверный хаос. Это страшное желание естественно в мозгу юноши, как нарыв на теле худосочного. Где много работы рабов, там не может быть места для свободной, творческой мысли, там могут цвести только идеи разрушения, ядовитые цветы мести, буйный протест животного. Это понятно - искажая душу человека, люди не должны ждать от него милосердия к ним.  Человек имеет право мести - это право дают ему люди.  В мутном небе, покрытом копотью, гаснет день. Огромные дома становятся еще мрачнее, тяжелее. Кое-где в их темных недрах вспыхивают огни и блестят, точно желтые глаза странных зверей, которые должны всю ночь стеречь мертвое богатство этих гробниц.  Люди кончили работу дня и,- не думая о том, зачем она сделана, нужна ли она для них,- быстро бегут спать. Тротуары залиты темными потоками человеческого тела. Все головы однообразно покрыты круглыми шляпами, и все мозги,- это видно по глазам,- уже уснули. Работа кончена, думать больше не о чем. Все думают только для хозяина, о себе думать нечего; если есть работа - будет хлеб и дешевые наслаждения жизнью,- кроме этого, ничего не нужно человеку в городе Желтого Дьявола.  Люди идут к своим постелям, к женщинам своим, своим мужчинам, и ночью, в душных комнатах, потные и скользкие от пота, будут целоваться, чтобы для города родилась новая, свежая пища.  Идут. Не слышно смеха, нет веселого говора, и не блестят улыбки.  Крякают автомобили, щелкают бичи, густо поют \*электрические провода, гремят вагоны. Вероятно, где-нибудь играет музыка.  Мальчишки резко выкрикивают названия газет. Подлый звук шарманки и чей-то вопль сливаются в трагикомическом объятии убийцы и балаганного шута. Безвольно идут маленькие люди - точно камни катятся под гору.  Всё больше и больше вспыхивает желтых огней - целые стены сверкают пламенными словами о пиве, о виски, о мыле, новой бритве, шляпах, сигарах, о театрах. Грохот железа, гонимого всюду вдоль улиц жадными толчками Золота, не становится тише. Теперь, когда везде горят огни, этот непрерывный вопль еще значительнее, он приобретает новый смысл, более тяжелую силу.  Со стен домов, с вывесок, из окон ресторанов - льется ослепляющий свет расплавленного Золота. Нахальный, крикливый, он торжествующе трепещет всюду, режет глаза, искажает лица своим холодным блеском. Его хитрое сверкание полно острой жажды вытянуть из карманов людей ничтожные крупицы их заработка,- он слагает свои подмигивания в огненные слова и этими словами молча зовет рабочих к дешевым удовольствиям, предлагает им удобные вещи.  Страшно много огня в этом городе! Сначала это кажется красивым и, возбуждая, веселит. Огонь - свободная стихия, гордое дитя солнца. Когда он буйно расцветает - его цветы трепещут и живут прекрасней всех цветов земли. Он очищает жизнь, он может уничтожить всё ветхое, умершее и грязное.  Но когда в этом городе смотришь на огонь, заключенный в прозрачные темницы из стекла, понимаешь, что здесь - как всё - огонь порабощен. Он служит Золоту, для Золота и враждебно далек от людей.  Как всё - железо, камень, дерево - огонь тоже в заговоре против человека; ослепляя его, он зовет:  - Иди сюда!  И выманивает:  - Отдай твои деньги!..  Люди идут на его зов, покупают ненужную им дрянь и смотрят на зрелища, отупляющие их.  Кажется, что где-то в центре города вертится со сладострастным визгом и ужасающей быстротой большой ком Золота, он распыливает по всем улицам мелкие пылинки, и целый день люди жадно ловят, ищут, хватают их. Но вот наступает вечер, ком Золота начинает вертеться в противоположную сторону, образуя холодный огненный вихрь, и втягивает в него людей затем, чтобы они отдали назад золотую пыль, пойманную днем. Они отдают всегда больше того, сколько взяли, и на утро другого дня ком Золота увеличивается в объеме, его вращение становится быстрее, громче звучит торжествующий вой железа, его раба, грохот всех сил, порабощенных им.  И жаднее, с большей властью, чем вчера, оно сосет кровь и мозг людей для того, чтобы к вечеру эта кровь, этот мозг обратились в холодный желтый металл. Ком Золота - сердце города. В его биении - вся жизнь, в росте его объема - весь смысл ее.  Для этого люди целыми днями роют землю, куют железо, строят дома, дышат дымом фабрик, всасывают порами тела грязь отравленного, больного воздуха, для этого они продают свое красивое тело.  Это скверное волшебство усыпляет их души, оно делает людей гибкими орудиями в руке Желтого Дьявола, рудой, из которой Он неустанно плавит Золото, свою плоть и кровь.  Из пустыни океана идет ночь и дышит на город прохладным соленым дыханием. Тысячами стрел вонзаются в нее холодные огни - она идет, сострадательно окутывая темными одеждами безобразие домов, мерзость узких улиц, прикрывая грязь лохмотьев нищеты. Дикий вопль жадного безумия несется ей навстречу, разрывая ее тишину,- она идет и медленно гасит нахальный блеск порабощенного огня, закрывая своей мягкой рукой гнойные язвы города.  Но, вступая в сети улиц, она не в силах победить, разогнать своим свежим дыханием ядовитые испарения города. Она трется о камень стен, нагретый солнцем, ползет по ржавому железу крыш, по грязи мостовых, пропитывается ядовитой пылью, глотает запахи и, опуская крылья, бессильно, неподвижно ложится на крыши домов, в канавы улиц. От нее осталась только тьма,- свежесть и прохлада исчезли, проглоченные камнем, железом, деревом, грязными легкими людей. В ней больше нет тишины, нет поэзии.  Город засыпает в духоте, он ворчит, как огромное животное. Оно слишком много пожрало за день разной пищи, ему жарко, неловко и снятся дурные, тяжелые сны.  Вздрагивая, угасает огонь, отслужив свою жалкую службу провокатора, лакея рекламы. Дома всасывают людей, одного за другим, в свои каменные внутренности.  Худой, высокий и сутулый человек стоит на углу улицы и скучно бесцветными глазами смотрит направо и налево, медленно повертывая голову. Куда идти? Все улицы одинаковы, и все дома смотрят друг на друга бельмами тусклых окон одинаково безразлично и мертво.  Душная тоска давит горло теплой рукой, стесняя дыхание. Над крышами домов неподвижно стоит прозрачное облако дневных испарений проклятого, несчастного города. Сквозь эту пелену в недосягаемой высоте небес тускло мерцают тихие звезды.  Человек снял шляпу, поднял голову, смотрит вверх. Высота домов в этом городе оттолкнула небо дальше от земли, чем где-либо. Звезды - мелки, одиноки.  Вдали тревожно звучит медная труба. Длинные ноги человека странно вздрагивают, и он идет в одну из улиц, шагая медленно, наклонив голову и размахивая руками.  Уже поздно, улицы становятся всё более пустынными. Одинокие, маленькие люди исчезают, точно мухи, пропадая во тьме. На углах неподвижно стоят полицейские в серых шляпах с палками в руках. Они жуют табак, медленно двигая челюстями.  Человек идет мимо них, мимо телефонных столбов и множества черных дверей в стенах домов,- черных дверей, сонно разинувших квадратные пасти. Где-то далеко гремит и воет вагон трамвая. Ночь задохнулась в глубоких клетках улиц, ночь умерла.  Человек идет, размеренно передвигая ноги, и качает свой длинный согнутый корпус. В его фигуре есть что-то думающее и хотя нерешительное, но - решающее.  Мне кажется, он - вор.  Приятно видеть человека, который чувствует себя живым в черных сетях города.  Раскрытые окна дышат тошным запахом человеческого пота.  Непонятные, глухие звуки дремотно возятся в душной, тоскливой тьме.  Уснул и сонно бредит мрачный город Желтого Дьявола.  New-York, Staten Island 1906  Источник: <http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367.htm>  Впервые цикл очерков «В Америке» напечатан в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книги одиннадцатая и двенадцатая. Тогда же издан за границей отдельной книгой: «М.Горький. В Америке (Очерки). Часть первая», издательство И.Дитца, Штутгарт, 1906.  Очерки написаны весною и летом 1906 г. в Америке.  В феврале 1906 года, по поручению партии большевиков, М.Горький, которому угрожал арест, выехал из России. Перед ним стояли задачи: рассказать иностранным рабочим правду о русской революции, пропагандировать её идеи, организовать сбор средств для революционной борьбы большевистской партии, агитировать против иностранных займов, которые царское правительство стремилось получить для подавления революции. Несколько недель писатель пробыл в Германии, затем отправился в Америку, куда и прибыл 10/23 апреля 1906 г. Через несколько дней М.Горький сообщал друзьям о своих первых впечатлениях от Америки. В письме к К.П.Пятницкому он писал, что американцы «...слишком бизнесмены - люди, делающие деньги, - у них мало жизни духа» (Архив А.М.Горького). Тогда же, сопоставляя Россию эпохи революции 1905 г. с Америкой, М.Горький сообщал И.П.Ладыжникову: «Мы далеко впереди этой свободной Америки, при всех наших несчастьях! Это особенно ясно видно, когда сравниваешь здешнего фермера или рабочего с нашими мужиками и рабочими» (Архив А.М.Горького).  В первых же публичных выступлениях в Америке М.Горький выражал солидарность с американскими трудящимися. В некоторых газетах США в апреле 1906 г. была напечатана телеграмма М.Горького, адресованная Вильяму Хэйвуду и Чарльзу Мойеру - руководителям «Западной федерации рудокопов», заключённым в тюрьму города Кальдуэль. «Привет вам, братья-социалисты! - писал М.Горький. - Мужайтесь! День справедливости и освобождения угнетённых всего мира близок. Навсегда братски ваш».  Выступая на митинге в Грэнд-Пэлейсе в Нью-Йорке, М.Горький заявил: «Я не верю в вражду рас и наций. Я вижу только одну борьбу - классовую. Я не верю в существование специфической психологии, вызывающей у белого человека естественную ненависть к человеку чёрной расы...»  Американская буржуазная пресса открыла злостную кампанию против М.Горького. Писатель был выселен из отеля в Нью-Йорке, где он проживал. Все другие владельцы нью-йоркских отелей также отказались предоставить ему помещение. Американские капиталисты надеялись заставить М.Горького уехать из Америки. Писатель вынужден был поселиться в частном доме, в Нью-Йорке на Отейтен Айленд, у супругов Мартин. У них на даче, в горах Адирондака, в 25 километрах от города Элизабеттоун, М.Горький прожил лето 1906 г.  Появление в американском журнале «Аппельтон мэгэзин» очерка «**Город Жёлтого Дьявола**» вызвало целый поток читательских откликов. В одном из писем в августе 1906 г. М.Горький сообщал, что сенаторы пишут возражения, а рабочие хохочут.  К.П.Пятницкому М.Горький писал: «Знаете - в ответ на мою статью в «Аппельтоне» о Нью-Йорке газеты получили более 1200 возражений!  Я скоро напечатаю статью «Страна подростков» (не написана - Ред.), в которой буду доказывать, что американцы, даже когда они лысы, седы и жуют вставными зубами, даже когда они профессора, сенаторы и миллионеры, - имеют не более 13 - 15 лет от роду. Вероятно, меня задавят возражениями» (Архив А.М.Горького).  И ещё: «...Меня страшно увлекает каша, заваренная здесь. Любопытно! Говорят — я здесь делаю революцию. Это, конечно, чепуха, но, говоря серьёзно, мне удалось поднять шум» (Архив А.М.Горького).  Первоначально книга «В Америке» состояла из четырёх очерков: «Город Жёлтого Дьявола», «Царство скуки», «МоЬ», «Чарли Мэн». Позднее последний очерк М.Горьким в цикл не включался. В настоящем издании очерк «Чарли Мэн» печатается вне цикла.  ГОРОД ЖЁЛТОГО ДЬЯВОЛА. Впервые напечатано одновременно в американском журнале «Аппельтон мэгэзин», в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книга одиннадцатая, СПб, 1906, и в книге: «М.Горький. В Америке (Очерки). Часть первая», издательство И.Дитца, Штутгарт, 1906.  В авторизованных машинописных экземплярах текста содержится указание на место создания произведения: «New-Уогк. Staten Island».  ЦАРСТВО СКУКИ, «MOB». Впервые напечатаны одновременно в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книга двенадцатая, СПб, 1906, и в книге: «М.Горький. В Америке (Очерки). Часть первая», издательство И.Дитца, Штутгарт, 1906.  Очерки «В Америке» включались во все собрания сочинений, выходившие после Октябрьской революции.  Печатаются по тексту, подготовленному М.Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».   |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | [Город жёлтого дьявола](http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367.htm) [Царство скуки](http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367-2.htm) ["MOB"](http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367-3.htm) [**Примечания**](http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367-prim.htm) |   [Назад](http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367-3.htm) | | | **Рекомендуемые страницы от google:** | |

Источник: <http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-367-prim.htm>

**9-е января**

...Толпа напоминала тёмный вал океана, едва разбуженный первым порывом бури, она текла вперёд медленно; серые лица людей были подобны мутно-пенному гребню волны.

Глаза блестели возбуждённо, но люди смотрели друг на друга, точно не веря своему решению, удивляясь сами себе. Слова кружились над толпой, как маленькие, серые птицы.

Говорили негромко, серьёзно, как бы оправдываясь друг перед другом.

— Нет больше возможности терпеть, вот почему пошли...

— Без причины народ не тронется...

— Разве "он" это не поймёт?..

Больше всего говорили о "нём", убеждали друг друга, что "он" — добрый, сердечный и — всё поймёт... Но в словах, которыми рисовали его образ, не было красок. Чувствовалось, что о "нём" давно — а может быть, и никогда — не думали серьёзно, не представляли его себе живым, реальным лицом, не знали, что это такое, и даже плохо понимали — зачем "он" и что может сделать. Но сегодня "он" был нужен, все торопились понять "его" и, не зная того, который существовал в действительности, невольно создавали в воображении своём нечто огромное. Велики были надежды, они требовали великого для опоры своей.

Порою в толпе раздавался дерзкий человеческий голос:

— Товарищи! Не обманывайте сами себя...

Но самообман был необходим, и голос человека заглушался пугливыми и раздражёнными всплесками криков.

— Мы желаем открыто...

— Ты, брат, молчи!..

— К тому же, — отец Гапон...

— Он знает!..

Толпа нерешительно плескалась в канале улицы, разбиваясь на отдельные группы; гудела, споря и рассуждая, толкалась о стены домов и снова заливала середину улицы тёмной, жидкой массой — в ней чувствовалось смутное брожение сомнений, было ясно напряжённое ожидание чего-то, что осветило бы путь к цели верою в успех и этой верой связало, сплавило все куски в одно крепкое стройное тело. Неверие старались скрыть и не могли, замечалось смутное беспокойство и какая-то особенно острая чуткость ко звукам. Шли, осторожно прислушиваясь, заглядывали вперёд, чего-то упрямо искали глазами. Голоса тех, кто веровал в свою внутреннюю силу, а не в силу вне себя, — эти голоса вызывали у толпы испуг и раздражение, слишком резкие для существа, убеждённого в своем праве состязаться в открытом споре с тою силою, которую оно хотело видеть.

Но, переливаясь из улицы в улицу, масса людей быстро росла, и этот рост внешний постепенно вызывал ощущение внутреннего роста, будил сознание права народа-раба просить у власти внимания к своей нужде.

- Мы тоже люди, как-никак...

— "0н", чай, поймёт, — мы просим...

— Должен понять!.. Не бунтуем...

— Опять же, — отец Гапон...

— Товарищи! Свободу не просят...

— Ах, господи!..

— Да погоди ты, брат!..

— Гоните его прочь, дьявола!..

— Отец Гапон лучше знает как...

— Когда людям необходима вера, — она приходит...

Высокий человек в чёрном пальто, с рыжей заплатой на плече, встал на тумбу и, сняв шапку с лысой головы, начал говорить громко, торжественно, с огнём в глазах и дрожью в голосе. Говорил о "нём", о царе.

Но в слове и тоне сначала чувствовалось что-то искусственно приподнятое, не слышно было того чувства, которое способно, заражая других, создавать почти чудеса. Казалось, человек насилует себя, пытаясь разбудить и вызвать в памяти образ давно безличный, безжизненный, стёртый временем. Он был всегда, всю жизнь, далёк от человека, но сейчас он стал необходим ему - в него человек хотел вложить свои надежды.

И они постепенно оживляли мертвеца. Толпа слушала внимательно — человек отражал её желания, она это чувствовала. И хотя сказочное представление силы явно не сливалось с "его" образом, но все знали, что такая сила есть, должна быть. Оратор воплотил её в существо всем известное по картинкам календарей, связал с образом, который знали по сказкам, — а в сказках этот образ был человечен. Слова оратора — громкие, понятные — понятно рисовапи существо властное, доброе, справедливое, отечески внимательное к нужде народа.

Вера приходила, обнимала людей, возбуждала их, заглушая тихий шопот сомнений... Люди торопились поддаться давно жданному настроению, стискивали друг друга в огромный ком единодушных тел, и плотность, близость плеч и боков, согревала сердца теплотой уверенности, надежды на успех.

— Не надо нам красных флагов! — кричал лысый человек. Размахивая шапкой, он шёл во главе толпы, и его голый череп тускло блестел, качался в глазах людей, притягивая к себе их внимание.

— Мы к отцу идём!..

— Не даст в обиду!

— Красный цвет — цвет нашей крови, товарищи! — упрямо звучал над толпой одинокий, звонкий голос.

— Нет силы, которая освободит народ, кроме силы самого народа.

- Не надо!..

— Смутьяны, черти!..

— Отец Гапон — с крестом, а он — с флагом.

— Молодой ещё, но тоже, чтобы командовать...

Наименее уверовавшие шли в глубине толпы и оттуда раздражённо и тревожно кричали:

— Гони его, который с флагом!..

Теперь двигались быстро, без колебаний и с каждым шагом всё более глубоко заражали друг друга единством настроения, хмелем самообмана. Только что созданный, "он" настойчиво будил в памяти старые тени добрых героев — отзвуки сказок, слышанных в детстве, и, насыщаясь живою силою желания людей веровать, безудержно рос в их воображении...

Кто-то кричал:

- "Он" нас любит!..

И несомненно, что масса людей искренно верила в эту любовь существа, ею же только что созданного.

Кода толпа вылилась из улицы на берег реки и увидела перед собой длинную, ломаную линию солдат, преграждавшую ей путь на мост, людей не остановила эта тонкая, серая изгородь. В фигурах солдат, чётко обрисованных на голубовато-светлом фоне широкой реки, не было ничего угрожающего, они подпрыгивали, согревая озябшие ноги, махали руками, толкали друг друга. Впереди, за рекой, люди видели тёмный дом — там ждал их "он", царь, хозяин этого дома. Великий и сильный, добрый и любящий, он не мог, конечно, приказать своим солдатам, чтобы они не допускали к нему народ, который его любит и желает говорить с ним о своей нужде.

Но всё-таки на многих лицах явилась тень недоумения, и люди впереди толпы немного замедлили свой шаг. Иные оглянулись назад, другие отошли в сторону, и все старались показать друг другу, что о солдатах — они знают, это не удивляет их. Некоторые спокойно поглядывали на золотого ангела, блестевшего высоко в небе над унылой крепостью, другие улыбались. Чей-то голос, соболезнуя, произнёс:

— Холодно солдатам!..

— Н-да-а...

— Солдаты — для порядка.

— Спокойно, ребята!.. Смирно!

— Ура, солдаты! — крикнул кто-то.

Офицер в жёлтом башлыке на плечах выдернул из ножен саблю и тоже что-то кричал встречу толпе, помахивая в воздухе изогнутой полоской стали. Солдаты встали неподвижно плечо к плечу друг с другом.

— Чего это они? — спросила полная женщина.

Ей не ответили. И всем, как-то вдруг, стало трудно идти.

— Назад! — донёсся крик офицера.

Несколько человек оглянулось — позади их стояла плотная масса тел, из улицы в неё лилась бесконечным потоком тёмная река людей; толпа, уступая её напору, раздавалась, заполняя площадь перед мостом. Несколько человек вышло вперёд и, взмахивая белыми платками, пошли навстречу офицеру. Шли и кричали:

— Мы — к государю нашему...

— Вполне спокойно!..

— Назад! Я прикажу стрелять!..

Когда голос офицера долетел до толпы, она ответила гулким эхом удивления. О том, что не допустят до "него", — некоторые из толпы говорили и раньше, но чтобы стали стрелять в народ, который идёт к "нему" спокойно, с верою в его силу и доброту, — это нарушало цельность созданного образа. "Он" — сила выше всякой силы, и ему некого бояться, ему незачем отталкивать от себя свой народ штыками и пулями...

Худой, высокий человек с голодным лицом и чёрными глазами вдруг закричал:

— Стрелять? Не смеешь!..

И, обращаясь к толпе, громко, злобно продолжал:

— Что? Говорил я — не пустят они...

- Кто? Солдаты?

— Не солдаты, а — там...

Он махнул рукой куда-то вдаль.

— Выше которые... вот! Ага? Я же говорил!

— Это ещё неизвестно...

— Узнают, зачем идём, — пустят!..

Шум рос. Были слышны гневные крики, раздавались возгласы иронии. Здравый смысл разбился о нелепость преграды и молчал. Движения людей стали нервнее, суетливее; от реки веяло острым холодом. Неподвижно блестели острия штыков.

Перекидываясь восклицаниями и подчиняясь напору сзади, люди двигались вперёд. Те, которые пошли с платками, свернули в сторону, исчезли в толпе. Но впереди все — мужчины, женщины, подростки — тоже махали белыми платками.

— Какая там стрельба? К чему? — солидно говорил пожилой человек с проседью в бороде. — Просто они не пускают на мост, дескать — идите прямо по льду...

И вдруг в воздухе что-то неровно и сухо просыпалось, дрогнуло, ударило в толпу десятками невидимых бичей. На секунду все голоса вдруг как бы замерзли. Масса продолжала тихо подвигаться вперёд.

—Холостыми... — не то сказал, не то спросил бесцветный голос.

Но тут и там раздавались стоны, у ног толпы легло несколько тел. Женщина, громко охая, схватилась рукой за грудь и быстрыми шагами пошла вперёд, на штыки, вытянутые встречу ей. За нею бросились ещё люди и ещё, охватывая её, забегая вперёд её.

И снова треск ружейного залпа, ещё более громкий, более неровный. Стоявшие у забора слышали, как дрогнули доски, - точно чьи-то невидимые зубы злобно кусали их. А одна пуля хлестнулась вдоль по дереву забора и, стряхнув с него мелкие щепки, бросила их в лица людей. Люди падали по двое, по трое, приседали на землю, хватаясь за животы, бежали куда-то прихрамывая, ползли по снегу, и всюду на снегу обильно вспыхнули яркие красные пятна. Они расползались, дымились, притягивая к себе глаза... Толпа подалась назад, на миг остановилась, оцепенела, и вдруг раздался дикий, потрясающий вой сотен голосов. Он родился и потёк по воздуху непрерывной, напряжённо дрожащей пёстрой тучей криков острой боли, ужаса, протеста, тоскливого недоумения и призывов на помощь.

Наклонив головы, люди группами бросились вперёд подбирать мёртвых и раненых. Раненые тоже кричали, грозили кулаками, все лица вдруг стали иными, и во всех глазах сверкало что-то почти безумное. Паники — того состояния общего чёрного ужаса, который вдруг охватывает людей, сметает тела, как ветер сухие листья в кучу, и слепо тащит, гонит всех куда-то в диком вихре стремления спрятаться, — этого не было. Был ужас, жгучий, как промёрзшее железо, он леденил сердце, стискивал тело и заставлял смотреть широко открытыми глазами на кровь, поглощавшую снег, на окровавленные лица, руки, одежды, на трупы, страшно спокойные в тревожной суете живых. Было едкое возмущение, тоскливо бессильная злоба, много растерянности и много странно неподвижных глаз, угрюмо нахмуренных бровей, крепко сжатых кулаков, судорожных жестов и резких слов. Но казалось, что больше всего в груди людей влилось холодного, мертвящего душу изумления. Ведь за несколько ничтожных минут перед этим они шли, ясно видя перед собою цель пути, пред ними величаво стоял сказочный образ, они любовались, влюблялись в него и питали души свои великими надеждами. Два залпа, кровь, трупы, стоны, и - все встали перед серой пустотой, бессильные, с разорванными сердцами.

Топтались на одном месте, точно опутанные чем-то, чего не могли разорвать; одни молча и озабоченно носили раненых, подбирали трупы, другие точно во сне смотрели на их работу, ошеломлённо, в странном бездействии. Многие кричали солдатам слова упрёков, ругательства и жалобы, размахивали руками, снимали шапки, зачем-то кланялись, грозили чьим-то страшным гневом...

Солдаты стояли неподвижно, опустив ружья к ноге, лица у них были тоже неподвижные, кожа на щеках туго натянулась, скулы остро высунулись. Казалось, что у всех солдат белые глаза и смёрзлись губы...

В толпе кто-то кричал истерически громко:

— Ошибка! Ошибка вышла, братцы!.. Не за тех приняли! Не верьте!.. Иди, братцы, — надо объяснить!..

— Гапон — изменник! — вопил подросток-мальчик, влезая на фонарь.

— Что, товарищи, видите, как встречает вас?..

— Постой, — это ошибка! Не может этого быть, ты пойми!

— Дай дорогу раненому!.. Двое рабочих и женщина вели высокого худого человека; он был весь в снегу, из рукава его пальто стекала кровь. Лицо у него посинело, заострилось ещё более, и тёмные губы, слабо двигаясь, прошептали:

— Я говорил — не пустят!.. Они его скрывают, — что им — народ!

— Конница!

— Беги!..

Стена солдат вздрогнула и растворилась, как две половины деревянных ворот, танцуя и фыркая, между ними проехали лошади, раздался крик офицера, над головами конницы взвились, разрезав воздух, сабли, серебряными лентами сверкнули, замахнулись все в одну сторону. Толпа стояла и качалась, волнуясь, ожидая, не веря.

Стало тише.

— Ма-арш! — раздался неистовый крик.

Как будто вихрь ударил в лицо людей, и земля точно обернулась кругом под их ногами, все бросились бежать, толкая и опрокидывая друг друга, кидая раненых, прыгая через трупы. Тяжёлый топот лошадей настигал, солдаты выли, их лошади скакали через раненых, упавших, мёртвых, сверкали сабли, сверкали крики ужаса и боли, порою был слышен свист стали и удар её о кость. Крик избиваемых сливался в гулкий и протяжный стон...

Солдаты взмахивали саблями и опускали их на головы людей, и вслед за ударом тела их наклонялись набок. Лица у них были красные, безглазые. Ржали лошади, страшно оскаливая зубы, взмаживая головами...

Народ загнали в улицы... И тотчас же, как только топот лошадей исчез вдали, люди остановились задыхаясь, взглянули друг на друга выкатившимися глазами. На многих лицах явились виноватые улыбки, и кто-то засмеялся, крикнув:

— Ну, и бежал же я!..

— Тут — побежишь!.. — ответили ему.

И вдруг со всех сторон посыпались восклицания изумления, испуга, злобы...

- Что же это, братцы, а?

— Убийство идёт, православные!

— За что?

— Вот так правительство!

— Рубят, а? Конями топчут...

Недоуменно мялись на месте, делясь друг с другом своим возмущением. Не понимали, что нужно делать, никто не уходил, каждый прижимался к другому, стараясь найти какой-то выход из пёстрой путаницы чувств, смотрели с тревожным любопытством друг на друга и — всё-таки, более изумлённые, чем испуганные, — чего-то ждали, прислушиваясь, оглядываясь. Все были слишком подавлены и разбиты изумлением, оно лежало сверху всех чувств, мешало слиться настроению более естественному в эти неожиданные, страшные, бессмысленно ненужные минуты, пропитанные кровью невинных...

Молодой голос энергично позвал:

— Эй! Идите подбирать раненых!

Все встрепенулись, быстро пошли к выходу на реку. А навстречу им в улицу вползали по снегу и входили, шатаясь на ногах, изувеченные люди, в крови и снегу. Их брали на руки, несли, останавливали извозчиков, сгоняя седоков, куда-то увозили. Все стали озабочены, угрюмы, молчаливы. Рассматривали раненых взвешивающими глазами, что-то молча измеряли, сравнивали, углублённо искали ответов на страшный вопрос, встававший перед ними неясной, бесформенной, чёрной тенью. Он уничтожал образ недавно выдуманного героя, царя, источника милости и блага. Но лишь немногие решались вслух сознаться, что этот образ уже разрушен. Сознаться в этом было трудно, — ведь это значило лишить себя единственной надежды...

Шёл лысый человек в пальто с рыжей заплатой, его тусклый череп теперь был окрашен кровью, он опустил плечо и голову, ноги у него подламывались. Его вели широкоплечий парень без шапки, с курчавой головой и женщина в разорванной шубке с безжизненным, тупым лицом.

— Погоди, Михаило, — как же это? — бормотал раненый, — Стрелять в народ — не разрешается!.. Не должно это быть, Михаило.

— А — было! — крикнул парень.

— И стреляли... И рубили... — уныло заметила женщина.

— Значит, приказание дано на это, Михаило...

— И было! — злобно крикнул парень. — А ты думал — с тобой разговаривать станут? Вина стакан поднесут?

— Погоди, Михаило...

Раненый остановился, опираясь спиной о стену, и закричал:

— Православные!.. За что нас убивают? По какому закону?.. По чьему приказу?

Люди шли мимо него, опуская головы.

В другом месте на углу у забора собрались несколько десятков, и в середине их чей-то быстрый, задыхающийся голос говорил тревожно и злобно:

— Гапон вчера был у министра, он знал всё, что будет, значит — он изменник нам, — он повёл нас на смерть!

— Какая ему польза?

— А я — знаю?

Всюду разгоралось волнение, перед всеми вставали вопросы ещё неясные, но уже каждый чувствовал их важность, глубину, суровое, настойчивое требование ответа. В огне волнения быстро истлевала вера в помощь извне, надежда на чудесного избавителя от нужды.

Посреди улицы шла женщина, полная, плохо одетая, с добрым лицом матери, с большими, грустными глазами. Она плакала и, поддерживая правой рукой окровавленную левую, говорила:

— Как буду работать? Чем кормить детей?.. Кому жаловаться?.. Православные, где же у народа защитники, если и царь против него?

Её вопросы, громкие и ясные, разбудили людей, всколыхнули и встревожили их. К ней быстро подходили, бежали со всех сторон и, останавливаясь, слушали её слова угрюмо и внимательно.

— Значит, народу — нет закона?

У некоторых вырывались вздохи. Другие негромко ругались.

Откуда-то пронёсся резкий, злой крик.

— Получил помощь — сыну ногу разбили...

— Петруху — насмерть!..

Криков было мною, они хлестали по ушам и, всё чаще вызывая мстительное эхо, резкие отзвуки, будили чувство озлобления, сознание необходимости защищаться от убийц. На бледных лицах выступало некое решение.

— Товарищи! Мы всё-таки идём в город... может, чего-нибудь добьёмся... Идёмте, понемногу!

- Перебьют...

— Давайте говорить солдатам, — может, они поймут, что нет закона убивать народ!

— А может, есть, — почему мы знаем?

Толпа медленно, но неуклонно изменялась, перерождаясь в народ. Молодёжь расходилась небольшими группами, все они шли в одну сторону, снова к реке. И всё несли раненых, убитых, пахло тёплой кровью, раздавались стоны, возгласы.

- Якову Зимину — прямо в лоб...

- Спасибо батюшке-царю!

- Да-а, — встретил!

Раздалось несколько крепких слов. Даже за одно из них четверть часа тому назад толпа разорвала бы в клочья.

Маленькая девочка бежала и кричала всем:

- Не видали маму?

Люди молча оглядывались на неё и уступали ей дорогу.

Потом раздался голос женщины с раздробленной рукой:

- Здесь, здесь я...

Улица пустела. Молодёжь уходила всё быстрее. Пожилые люди угрюмо, не спеша, тоже шли куда-то по двое и по трое, исподлобья глядя вслед молодым. Говорили мало... Лишь порой кто-нибудь, не сдержав горечи, восклицал негромко:

- Значит, народ отбросили теперь?..

- Убийцы проклятые!..

Сожалели об убитых людях и, догадываясь, что убит также один тяжёлый, рабский предрассудок, осторожно молчали о нём, не произнося более царапающего ухо имени его, чтобы не тревожить в сердце тоски и гнева...

А может быть, молчали о нём, боясь создать другой на место мёртвого...

...Вокруг жилища царя стояли плотной, неразрывной цепью серые солдаты, под окнами дворца на площади расположилась конница, торчали пушки, небольшие и похожие на пиявок. Запах сена, навоза, лошадиного пота окружал дворец, лязг железа, звон шпор, крики команды, топот лошадей колебался под слепыми окнами дворца.

Против солдат — тысячи безоружных, озлобленных людей топчется на морозе, над толпою — сероватый пар дыхания, точно пыль. Рота солдат опиралась одним флангом о стену здания на углу Невского проспекта, другим — о железную решётку сада, преграждая дорогу на площадь ко дворцу. Почти вплоть к солдатам штатские, разнообразно одетые люди, большинство рабочих, много женщин и подростков.

— Расходись, господа! — вполголоса говорил фельдфебель. Он ходил вдоль фронта, отодвигая людей от солдат руками и плечом, стараясь не видеть человеческих лиц.

— Почему вы не пускаете? — спрашивали его.

— Куда?

— К царю!

Фельдфебель на секунду остановился и с чувством, похожим на уныние, воскликнул:

— Да я же говорю — нет его!

— Царя нет?

— Ну да! Сказано вам нет, и — ступайте!

— Совсем нет царя? — настойчиво допрашивал иронический голос.

Фельдфебель снова остановился, поднял руку.

— За такие слова — берегись!

И другим тоном объяснил:

— В городе — нет его!

Из толпы ответили:

— Нигде нет!

— Кончился!

— Расстреляли вы его, дьяволы!

— Вы думали — народ убиваете?

— Народ — не убьешь! Его на всё хватит...

— Отойди, господа! Не разговаривай!

— Ты кто? Солдат? Что такое — солдат?

В другом месте старичок с бородкой клином воодушевлённо говорил солдатам:

— Вы — люди, мы — тоже! Сейчас вы в шинелях, завтра — в кафтанах. Работать захотите, есть понадобится. Работы нет, есть нечего. Придётся и вам, ребята, так же вот, как мы. Стрелять, значит, в вас надо будет? Убивать за то, что голодные будете, а?

Солдатам холодно. Они переминались с ноги на ногу, били подошвами о камни мостовой, тёрли уши, перебрасывая ружья из руки в руку. Слушая речи, вздыхали, двигали глазами вверх и вниз, чмокали озябшими губами, сморкались. Лица, посиневшие от холода, однообразно унылы, туповаты, солдатишки — мелкие, в рост своих винтовок с примкнутыми штыками, — одиннадцатая рота 144-го Псковского полка. Некоторые из них, прищуриваясь, как бы целились во что-то, крепко стиснув зубы, должно быть, с трудом сдерживая злобу против массы людей, ради которой приходится мёрзнуть. От их серой, скучной линии веяло усталостью, тоской.

Люди, поддаваясь толчкам сзади, порою толкали солдат.

— Тиша! — негромко откликался на толчки человечек в серой шинели. Толпа всё более горячо кричала им что-то. Солдаты слушали мигая, лица кривились неопределёнными гримасами, и нечто жалкое, робкое являлось на них.

— Не трог ружо! — крикнул один из них молодому парню в мохнатой шапке. А тот тыкал солдата пальцем в грудь и говорил:

— Ты солдат, а не палач. Тебя позвали защищать Россию от врагов, а заставляют расстреливать народ... Пойми! Народ — это и есть Россия!

— Мы — не стрелям! — ответил солдат.

— Гляди — стоит Россия, русский народ! Он желает видеть своего царя...

Кто-то перебил речь, крикнув:

— Не желает!

— Что в том худого, что народ захотел поговорить с царём о своих делах? Ну, скажи, а?

— Не знаю я! — сказал солдат, сплёвывая.

Сосед его добавил:

— Не велено нам разговаривать...

Уныло вздохнул и опустил глаза.

Один солдатик вдруг ласково спросил стоявшего перед ним:

— Земляк, — не рязанский будете?

— Псковский. А что?

— Так. Я — рязанский...

И, широко улыбнувшись, зябко передёрнул плечами.

Люди колыхались перед ровной серой стеной, бились об неё, как волны реки о камни берега. Отхлынув, снова возвращались. Едва ли многие понимали, зачем они здесь, чего хотят и ждут? Ясно сознанной цели, определённого намерения не чувствовалось. Было горькое чувство обиды, возмущения, у многих — желание мести, это всех связывало, удерживало на улице, но не на кого было излить эти чувства, некому — мстить... Солдаты не возбуждали злобы, не раздражали — они были просто тупы, несчастны, иззябли, многие не могли сдержать дрожи в теле, тряслись, стучали зубами.

— С шести часов утра стоим! — говорили они. — Просто беда!

— Ложись и — помирай...

— Уйти бы вам, а? И мы бы в казармы, в тепло пошли...

— Чего вы беспокоитесь? Чего ждёте? — говорил фельдфебель.

Его слова, солидное лицо и серьёзный, уверенный тон охлаждали людей. Во всём, что он говорил, был как бы особый смысл, более глубокий, чем его простые слова.

— Нечего ждать... Только войско из-за вас страдает...

— Стрелять будете в нас? — спросил его молодой человек в башлыке.

Фельдфебель помолчал и спокойно ответил:

— Прикажут — будем!

Это вызвало взрыв укоризненных замечаний, ругательств, насмешек.

— За что? За что? — спрашивал громче всех высокий рыжий человек.

— Не слушаете приказаний начальства! — объяснил фельдфебель, потирая ухо.

Солдаты слушали говор толпы и уныло мигали. Один тихо воскликнул:

— Горячего бы чего-нибудь теперь!..

— Крови моей — хочешь? — спросил его чей-то злой, тоскливый голос.

— Я — не зверь! — угрюмо и обиженно отозвался солдат.

Много глаз смотрели в широкое, приплюснутое лицо длинной линии солдат с холодным, молчаливым любопытством, с презрением, гадливостью. Но большинство пыталось разогреть их огнём своего возбуждения, пошевелить что-то в крепко сжатых казармою сердцах, в головах, засоренных хламом казённой выучки. Большинство людей хотело что-нибудь делать, как-нибудь воплотить свои чувства и мысли в жизнь и упрямо билось об эти серые, холодные камни, желавшие одного — согреть свои тела.

Всё горячее звучали речи, всё более ярки становились слова.

- Солдаты! — говорил плотный мужчина, с большой бородой и голубыми глазами. — Вы дети русского народа. Обеднял народ, забыт он, оставлен без защиты, без работы и хлеба. Вот он пошёл сегодня просить царя о помощи, а царь велит вам стрелять в него, убивать. У Троицкого моста — стреляли, убили не меньше сотни. Солдаты! Народ — отцы и братья ваши — хлопочет не только за себя, - а и за вас. Вас ставят против народа, толкают на отцеубийство, братоубийство. Подумайте! Разве вы не понимаете, что против себя идёте?

Этот голос, спокойный и ровный, хорошее лицо и седые волосы бороды, весь облик человека и его простые, верные слова, видимо, волновали солдат. Опуская глаза перед его взглядом, они слушали внимательно, иной, покачивая головою, вздыхал, другие хмурили брови, оглядывались, кто-то негромко посоветовал:

- Отойди, — офицер услышит!

Офицер, высокий, белобрысый, с большими усами, медленно шёл вдоль фронта и, натягивая на правую руку перчатку, сквозь зубы говорил:

- Ра-азайдись! Па-ашёл прочь! Что? Пагавари, — я тебе пагаварю!..

Лицо у него было толстое, красное, глаза круглые, светлые, но без блеска. Он шёл не торопясь, твёрдо ударяя ногами в землю, но с его приходом время полетело быстрее, точно каждая секунда торопилась исчезнуть, боясь наполниться чем-то оскорбляющим, гнусным. За ним точно вытягивалась невидимая линейка, равняя фронт солдат, они подбирали животы, выпячивали груди, посматривали на носки сапог. Некоторые из них указывали людям глазами на офицера и делали сердитые гримасы. Остановясь на фланге, офицер крикнул:

- Смирно-о!

Солдаты всколыхнулись и замерли.

— Приказываю разойтись! — сказал офицер и не торопясь вынул из ножен шашку.

Разойтись было физически невозможно, — толпа густо залила всю маленькую площадь, а из улицы, в тыл ей, всё шёл и шёл народ.

На офицера смотрели с ненавистью, он слышал насмешки, ругательства, но стоял под их ударами твёрдо, неподвижно. Его взгляд мёртво осматривал роту. рыжие брови чуть-чуть вздрагивали. Толпа сильнее зашумела, её, видимо, раздражало это спокойствие.

— Этот — скомандует!

— Он без команды готов рубить...

— Ишь, вытащил селёдку-то...

- Эй, барин! Убивать - готов?

Разрастался буйный задор, являлось чувство беззаботной удали, крики звучали громче, насмешки — резче.

Фельдфебель взглянул на офицера, вздрогнул, побледнел и тоже быстро вынул саблю.

Вдруг раздалось зловещее пение рожка. Публика смотрела на горниста — он так странно надул щёки и выкатил глаза, что казалось — лицо его сейчас лопнет, рожок дрожал в его руке и пел слишком долго. Люди заглушили гнусавый, медный крик громким свистом, воем, визгом, возгласами проклятий, словами укоров, стонами тоскливого бессилия, криками отчаяния и удальства, вызванного ощущением возможности умереть в следующий миг и невозможностью избежать смерти. Уйти от неё было некуда. Несколько тёмных фигур бросились на землю и прижались к ней, иные закрывали руками лица, а седобородый человек, распахнув на груди пальто, выдвинулся вперёд всех, глядя на солдат голубыми глазами и говоря им что-то утопавшее в хаосе криков.

Солдаты взмахнули ружьями, взяв на прицел, и все оледенели в однообразной, сторожкой позе, вытянув к толпе штыки.

Было видно, что линия штыков висела в воздухе неспокойно, неровно, — одни слишком поднялись вверх, другие наклонились вниз, лишь немногие смотрели прямо в груди людей, и все они казались мягкими, дрожали и точно таяли, сгибались.

Чей-то голос громко, с ужасом и отвращением крикнул:

- Что вы делаете? Убийцы!

Штыки сильно и неровно дрогнули, испуганно сорвался залп, люди покачнулись назад, отброшенные звуком, ударами пуль, падениями мёртвых и раненых. Некоторые стали молча прыгать через решётку сада. Брызнул ещё залп. И ещё.

Мальчик, застигнутый пулею на решётке сада, вдруг перегнулся и повис на ней вниз головой. Высокая, стройная женщина с пышными волосами тихо ахнула и мягко упала около него.

- Ах вы, проклятые! — крикнул кто-то.

Стало просторней и тише. Задние убегали в улицы, во дворы, толпа тяжело отступала, повинуясь невидимым толчкам. Между ею и солдатами образовалось несколько сажен земли, сплошь покрытой телами. Одни из них, вставая, быстро отбегали к людям, другие поднимались с тяжёлыми усилиями, оставляя за собой пятна крови, они, шатаясь, тоже куда-то шли, и кровь текла вслед за ними. Много людей лежало неподвижно, вверх лицом и вниз и на боку, но все вытянувшись, в странном напряжении тела, схваченного смертью и точно вырывавшегося из рук её...

Пахло кровью. Запах этот её напоминал тёплое, солоноватое дыхание моря вечером, после жаркого дня, он был нездоров, пьянил и возбуждал скверную жажду обонять его долго и много. Он гадко развращает воображение, как это знают мясники, солдаты и другие убийцы по ремеслу.

Толпа, отступая, ахала, проклятия, ругательства и крики боли сливались в пёстрый вихрь со свистом, уханьем и стонами, солдаты стояли твёрдо и были так же неподвижны, как мёртвые. Лица у них посерели и губы плотно сжались, точно все эти люди тоже хотели кричать и свистеть, но не решались, сдерживались. Они смотрели прямо перед собой широко открытыми глазами и уже не мигали. В этом взгляде не было заметно что-либо человеческое, казалось, что они не видят ничего, эти опустошённые, мутные точки на серых, вытянутых лицах. Не хотят видеть, может быть, тайно боятся, что, увидав тёплую кровь, пролитую ими, ещё захотят пролить её. Ружья дрожали в их руках, штыки колебались, сверлили воздух. Но эта дрожь тела не могла разбудить тупого бесстрастия в грудях людей, сердца которых были погашены гнётом насилия над волей, мозги туго оклеены противной, гнилой ложью. С земли поднялся бородатый голубоглазый человек и снова начал говорить рыдающим голосом, весь вздрагивая:

— Меня — не убили. Это потому, что я говорил вам святую правду...

Толпа снова угрюмо и медленно подвигалась вперёд, убирая мёртвых и раненых. Несколько человек встало рядом с тем, который говорил солдатам, и тоже, перебивая его речь, кричали, уговаривали, упрекали, беззлобно, с тоской и состраданием. В голосах всё ещё звучала наивная вера в победу правдивого слова, желание доказать бессмыслие и безумие жестокости, внушить сознание тягостной ошибки. Старались и хотели заставить солдат понять позор и гадость их невольной роли...

Офицер вынул из чехла револьвер, внимательно осмотрел его и пошёл к этой группе людей. Она сторонилась от него не спеша, как сторонятся от камня, который не быстро катится с горы. Голубоглазый бородатый человек не двигался, встречая офицера словами горячей укоризны, широким жестом указывая на кровь вокруг.

— Чем это оправдать, подумайте? Нет оправдания!

Офицер встал перед ним, озабоченно насупил брови, вытянул руку. Выстрела не было слышно, был виден дым, он окружил руку убийцы раз, два и три. После третьего раза человек согнул ноги, запрокинулся назад, взмахивая правой рукой, и упал. К убийце бросились со всех сторон, — он отступал, махая шашкой, совал ко всем свой револьвер... Какой-то подросток упал под ноги ему, он его ткнул шашкой в живот. Кричал ревущим голосом, прыгал во все стороны, как упрямая лошадь. Кто-то бросил ему шапкой в лицо, бросали комьями окровавленного снега. К нему подбежал фельдфебель и несколько солдат, выставив вперёд штыки, — тогда нападавшие разбежались. Победитель грозил саблей вслед им, а потом вдруг опустил её и ещё раз воткнул в тело подростка, ползавшего у его ног, теряя кровь.

И снова гнусаво запел рожок. Люди быстро очищали площадь пред этим звуком, а он тонко извивался в воздухе и точно дочерчивал пустые глаза солдат, храбрость офицера, его красную на конце шашку, растрепавшиеся усы...

Живой, красный цвет крови раздражал глаза и притягивал их к себе, возбуждая хмельное и злобное желание видеть его больше, видеть всюду. Солдаты как-то насторожились, двигали шеями и, кажется, искали глазами ещё живых целей для своих пуль...

Офицер стоял на фланге и, взмахивая шашкой, что-то кричал, отрывисто, гневно, дико.

С разных концов в ответ ему неслись крики:

— Палач!

— Мерзавец!

Он начал приводить в порядок свои усы.

Раздался ещё залп, другой...

Улицы были набиты народом, как мешки зерном. Здесь было меньше рабочих, преобладали мелкие торговцы, служащие. Уже некоторые из них видели кровь и трупы, иных била полиция. Их вывела из домов на улицу тревога, и они всюду сеяли её, преувеличивая внешний ужас дня. Мужчины, женщины, подростки — все тревожно оглядывались, прислушиваясь ожидали. Рассказывали друг другу об убийствах, охали, ругались, расспрашивали легко раненых рабочих, порою понижали голоса до шопота и долго говорили друг другу что-то тайное. Никто не понимал, что надо делать, и никто не уходил домой. Чувствовали и догадывались, что за этими убийствами есть ещё что-то важное, более глубокое и трагическое для них, чем сотни убитых и раненых людей, чужих им.

До этого дня они жили почти безотчётно, какими-то неясными, неизвестно когда, незаметно как сложившимися представлениями о власти, законе, начальстве, о своих правах. Бесформенность этих представлений не мешала им опутать мозг густой, плотной сетью, покрыть его толстой, скользкой коркой; люди привыкли думать, что в жизни есть некая сила, призванная и способная защищать их, есть — закон. Эта привычка давала уверенность в безопасности и ограждала от беспокойных мыслей. С нею жилось недурно, и, несмотря на то, что жизнь десятками мелких уколов, царапин и толчков, а иногда серьёзными ударами, тревожила эти туманные представления, они были крепки, вязки и сохраняли свою мёртвую цельность, быстро заращивая все трещины и царапины.

А сегодня сразу мозг обнажился, вздрогнул и грудь наполнилась тревогой, холодом. Всё устоявшееся, привычное опрокинулось, разбилось, исчезло. Все, более или менее ясно, чувствовали себя тоскливо и страшно одинокими, беззащитными пред силой цинической и жестокой, не знающей ни права, ни закона. В её руках были все жизни, и она могла безотчётно сеять смерть в массе людей, могла уничтожать живых, как ей хотелось и сколько ей было угодно. Никто не мог её сдержать. Ни с кем она не хотела говорить. Была всевластна и спокойно показывала безмерность своей власти, бессмысленно заваливая улицы города трупами, заливая их кровью. Её кровавый, безумный каприз был ясно виден. Он внушал единодушную тревогу, едкий страх, опустошавший душу. И настойчиво будил разум, понуждая его создавать планы новой защиты личности, новых построений для охраны жизни.

Низко опустив голову, качая окровавленными руками, шёл какой-то плотный, коренастый человек. Его пальто спереди было обильно залито кровью.

- Вы ранены? - спросили его.

— Нет.

- А кровь?

— Не моя это! — не останавливаясь, ответил он. И вдруг остановился, оглянулся и заговорил странно громко:

— Это не моя кровь, господа, — это кровь тех, которые верили!..

Не кончив, он двинулся дальше, снова опустив голову.

В толпу, помахивая нагайками, въехал отряд конных. От них отскакивали во все стороны, давя друг друга и налезая на стены. Солдаты были пьяны, они бессмысленно улыбались, качаясь в сёдлах, иногда, как бы нехотя, били нагайками по головам и плечам. Один ушибленный упал, но тотчас, вскочив на ноги, спросил:

— За что? Э-эх ты, зверь!

Солдат быстро схватил из-за плеча винтовку и выстрелил в него с руки, не останавливая лошадь. Человек снова упал. Солдат засмеялся.

- Что делают? — в страхе кричал почтенный, прилично одетый господин, обращая во все стороны искажённое лицо. — Господа! Вы видите?

Непрерывным потоком струился глухой, возбуждённый шум голосов, в муках страха, в тревоге отчаяния — рождалось что-то медленно и незаметно объединявшее воскресшую из мёртвых, не привыкшую работать, неумелую мысль.

Но находились люди мира.

— Позвольте, зачем он обругал солдата?

— Солдат — ударил!

— Он должен был посторониться!

В углублении ворот две женщины и студент перевязывали простреленную руку рабочего. Он морщился, хмуро поглядывая вокруг, и говорил окружавшим:

- Никаких тайных намерений не было у нас, об этом говорят только подлецы да сыщики. Мы шли открыто. Министры знали, зачем идём, у них есть копии нашей петиции. Сказали бы, подлецы, что, мол, нельзя, не идите. Имели время сказать нам это, — мы не сегодня собрались. Все знали — и полиция и министры, — что мы пойдём. Разбойники...

— О чём вы просили? — серьёзно, вдумчиво осведомился седой и сухонький старик.

- Просили, чтобы царь выборных позвал от народа и с ними правил делами, а не с чиновниками. Разорили Россию, сволочи, ограбили всех.

- Действительно.. контроль необходим! — заметил старичок.

Рабочему перевязали рану, осторожно спустили рукав платья.

- Спасибо, господа! Я говорил товарищам — зря мы идём! Не будет толку.. Теперь — доказано это.

Он осторожно засунул руку между пуговицами пальто и не спеша пошёл прочь.

— Вы слышите, как они рассуждают? Это, батенька мой...

- Н-да-а! Хотя всё-таки такую бойню устраивать...

- Сегодня — его, завтра — меня могут...

— Н-да-а...

В другом месте горячо спорили:

— Он мог не знать!

— Тогда — зачем он?

Но люди, которые пробовали воскресить мертвеца, были уже редки, незаметны. Они возбуждали озлобление своими попытками воскресить умерший призрак. На них набрасывались, как на врагов, и они испуганно исчезали.

В улицу въехала, стискивая людей, батарея артиллерии. Солдаты сидели на лошадях и передках, задумчиво глядя вперёд, через головы людей. Толпа мялась, уступая дорогу, окутывалась угрюмым молчанием. Звенела упряжь, грохотали ящики, пушки, кивая хоботами, внимательно смотрели в землю, как бы нюхая её. Этот поезд напоминал о похоронах.

Где-то раздался треск выстрелов. Люди замерли, прислушались. Кто-то тихо сказал:

— Ещё!..

И вдруг по улице пробежал внезапный трепет оживления.

— Где, где?

— На острове... На Васильевском...

— Вы слышите?

— Да неужели?

— Честное слово! Оружейный магазин захватили...

— Ого?

— Спилили телеграфные столбы, построили баррикаду...

— Н-да-а... вот как?

— Много их?

— Много!

— Эх, — хоть отплатили бы за кровь невинную!..

— Идём туда!

— Иван Иванович, идёмте, а?

— Н-да-а... это, знаете...

Над толпой выросла фигура человека, и в сумраке звучно загудел призыв:

— Кто хочет драться за свободу? За народ, за право человека на жизнь, на труд? Кто хочет умереть в бою за будущее — иди на помощь!

Одни шли к нему, и среди улицы образовалось плотное ядро густо сомкнутых тел, другие спешно отходили куда-то прочь.

- Вы видите, как раздражён народ.

- Вполне законно, вполне!

- Безумства будут... ай-ай-ай!

Люди таяли в сумраке вечера, расходились по домам и несли с собой незнакомую им тревогу, пугающее ощущение одиночества, полупроснувшееся сознание драмы своей жизни, бесправной, бессмысленной жизни рабов... И готовность немедленно приспособиться ко всему, что будет выгодно, удобно...

Становилось страшно. Тьма разрывала связь между людьми, — слабую связь внешнего интереса. И каждый, кто не имел огня в груди, спешил скорее в свой привычный угол.

Темнело. Но огни не загорались...

- Драгуны! — крикнул хриплый голос.

Из-за угла вдруг вывернулся небольшой конный отряд, несколько секунд лошади нерешительно топтались на месте и вдруг помчались на людей. Солдаты странно завыли, заревели, и было в этом звуке что-то нечеловеческое, тёмное, слепое, непонятно близкое тоскливому отчаянию. Во тьме и люди и лошади стали мельче и черней. Шашки блестели тускло, криков было меньше, и больше слышалось ударов.

- Бей их чем попало, товарищи! Кровь за кровь, — бей!

- Беги!..

- Не смей, солдат! Я тебе не мужик!

- Товарищи, камнями!

Опрокидывая маленькие тёмные фигуры, лошади прыгали, ржали, храпели, звенела сталь, раздавалась команда.

- От-деление...

Пела труба, торопливо и нервно. Бежали люди, толкая друг друга, падая. Улица пустела, а посреди неё на земле явились тёмные бугры, и где-то в глубине, за поворотом, раздавался тяжёлый, быстрый топот лошадей...

- Вы ранены, товарищ?

- Отсекли ухо... кажется...

— Что сделаешь с голыми руками!..

В пустой улице гулко отдалось эхо выстрелов.

— Не устали ещё, — дьяволы!

Молчание. Торопливые шаги. Так странно, что мало звуков и нет движения в этой улице. Отовсюду несётся глухой, влажный гул, — точно море влилось в город.

Где-то близко тихий стон колеблется во тьме... Кто-то бежит и дышит тяжко, прерывисто.

Тревожный вопрос:

- Что, ранен?.. Яков?

— Постой, ничего! — отвечает хриплый голос.

Из-за угла, где скрылись драгуны, снова является толпа и густо, чёрно течёт во всю ширину улицы. Некто, идущий впереди и неотделимый от толпы во тьме, говорит:

— Сегодня с нас взяли кровью обязательство — отныне мы должны быть гражданами.

Нервно всхлипнув, его перебил другой голос:

— Да, — показали себя отцы наши!

И кто-то, угрожая, произнёс:

— Мы не забудем этот день!

Шли быстро, плотной кучей, говорили многие сразу, голоса хаотично сливались в угрюмый, тёмный гул. Порою кто-нибудь, возвысив голос до крика, заглушал на минуту всех.

— Сколько перебито людей!

— За что?

— Нет! Нам невозможно забыть этот день!..

Со стороны раздался надорванный и хриплый возглас, зловещий, как пророчество.

— Забудете, рабы! Что вам — чужая кровь?

— Молчи, Яков...

Стало темнее и тише. Люди шли, оглядываясь в сторону голоса, ворчали.

Из окна дома на улицу осторожно падал жёлтый свет. В пятне его у фонаря были видны двое чёрных людей. Один, сидя на земле, опирался спиной о фонарь, другой, наклонясь над ним, должно быть, хотел поднять его. И снова кто-то из них сказал, глухо и грустно:

— Рабы...

1906 г.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

**9-Е ЯНВАРЯ**  
*о ч е р к*

Впервые напечатано отдельным изданием в 1907 году в Берлине издательством И.П.Ладыжникова. В России до революции очерк «9-е января» не издавался, а распространение заграничных изданий этого очерка было запрещено комитетом иностранной цензуры.

Первое описание событий 9-го января, очевидцем и участником которых был М.Горький, содержится в его письме к Е.П.Пешковой, написанном 9-го же января 1905 года. В связи с намечавшимся в России изданием историко-революционного календаря М.Горький по просьбе издателя Гржебина, заказавшего ему в ноябре 1906 г. статью о событиях 9-го января, написал в декабре 1906 г. очерк «9-е января», но опубликовать его в историко-революционном календаре отказался.

В России очерк впервые был напечатан в 1920 году в Петрограде.

Для собрания сочинений в издании «Книга» М.Горький заново правил очерк «9-е января». Правленый автором текст хранится в Архиве А.М.Горького.

В Архиве А.М.Горького хранится также перепечатанный на машинке отрывок из «9-е января», начинающийся словами: «Вокруг жилища царя...» и заканчивающийся словами: «...вырывавшегося из рук её». Этот отрывок Горький заново отредактировал в начале 1930-х годов.

Очерк включался во все собрания сочинений, выходившие после Октябрьской революции.

Печатается по тексту, подготовленному М.Горьким для собрания сочинений в издании «Книга», с учетом авторских поправок и изменений, внесённых в указанный выше отрывок.

Источник: <http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-340.htm>